

Пугачевщина: «история снизу» или «история низов»?

«Круглый стол» «НЗ»

Кирилл Кобрин: Дорогие коллеги, сегодня мы обсуждаем две вроде бы разные темы, которые тем не менее между собой связаны, одна вытекает из другой. Первая тема – книга Кирилла Осповата о пугачевщине, которая содержит нестандартный взгляд на это событие, точнее, череду событий. Вторая – вопрос о возможности или невозможности «истории снизу» и «истории низов» вообще. Я попытаюсь сказать несколько слов о тех пучках проблем, которые возникли в моей голове в связи с книгой Кирилла и ее разнообразными контекстами.

Первый пучок – это та самая «история снизу». Насколько я понимаю, сама идея такой истории ведет свое происхождение от народнических кругов в Российской империи и схожих им в Европе – назову их «популистскими» за неимением лучших терминов, хотя к нынешним популистам они отношения не имеют. Стремительная индустриализация, развитие капитализма, становление модерности разрушали привычный уклад жизни, способствовали быстрому распространению грамотности, образования, появлению и развитию прессы и так далее. В результате, с одной стороны, угнетенные и обездоленные слои населения становились обездоленными по-новому, а с другой стороны, у них появилась возможность и способность высказываться, поскольку появились медиа, где можно было это делать. Все это накладывалось на уже существовавший протестный обиход угнетенных классов (назову этот феномен так) – включая крестьянство и другие социальные группы старого режима (в широком смысле), которые никуда не ушли, но трансформировались. Поэтому, как мне кажется, ключевые фигуры «истории снизу» с самого начала несут в себе эту политическую или социально-политическую повестку.

Что касается самой «истории снизу», то у нее, видимо, есть две версии. Одна – народническая, немарксистская, близкая к анархизму, народолюбию, неизбежно ретроспективно утопическая и – тут, думаю, Кирилл будет возражать – близкая к национализму, отчасти к ксенофобии. А другая – сциентистская, марксистская, но, как ни странно, с эсхатологическим оттенком. Это марксизм и Энгельс. И, несмотря на то, что эти версии



Кирилл Рафаилович Кобрин (р. 1964) – историк, литератор, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас».



«истории снизу» разные и между собой переругиваются, у них есть два важных сходства.

Первое: они исходят из представления о собственной моральной необходимости, которая заключается в том, что угнетенным надо дать голос – поскольку несправедливо, что они не имеют голоса и мы не слышим их голосов. Это чисто этический аргумент, он предшествует всему остальному, он существует *до* соображений историографических или политических; более того, политические соображения в данном случае являются моральными. И в народнической, и в сциентистски-марксистской историографии в основе лежит этический акт, акт восстановления этической справедливости. И мне кажется, что в этом смысле книга Кирилла исключительно важна, потому что вносит это обстоятельство – которого, если говорить о серьезной историографии, многие десятилетия не было, – в разговор о русской истории.

Стремительная индустриализация, развитие капитализма, становление модерности разрушали привычный уклад жизни. В результате, с одной стороны, угнетенные и обездоленные слои населения становились обездоленными по-новому, а с другой стороны, у них появилась возможность и *способность* высказываться.

Второе: и народническую, и сциентистски-марксистскую «историю снизу» объединяет... невозможность их существования. Тезис этот звучит несколько экзотически, но я поясню: ведь обе они как бы «говорят от имени» – тех самых «низов», угнетенных классов, голос которых историк должен услышать, усилить, оценить, поставить в нужный контекст и тому подобное. И тут возникает та же проблема, что у коммунистов с пролетариатом: тот не осознает своих классовых интересов, и потому партия с ее идеологией должны ему помочь с этим. В данном случае тоже – угнетенные говорят, но они не знают, как это делать так, чтобы быть услышанными, и вообще не знают, хотя ли они именно *так* говорить и так далее. Тут появляется историк, помогает им, и в этот момент, с моей точки зрения, иллюзия справедливого открытия каналов говорения угнетенных классов и социальных групп полностью развеивается. «История снизу» превращается в самую обычную – очень прогрессивную, но все-таки – разновидность традиционной историографии, когда историк отбирает материал (в данном

случае это «голоса снизу») и пакует его исходя из того, как ему это нужно и удобно.

Второй пучок проблем, возникший в моей голове при чтении книги Кирилла, – это вопрос об «истории низов», с которой в результате историографической практики получается то же, что и с «историей снизу»: она превращается в написанную «сверху» «историю низов», в ту довольно традиционную область знаний, возникшую в период между Энгельсом и Марком Блоком в противовес традиционной тогда историографии, в смесь, как и у «анналистов», социологии и историко-культурной антропологии. И здесь еще одна, с моей точки зрения, не очень бросающаяся в глаза, но важная заслуга книги Кирилла: она стремится остаться историей, историографией, не превращаясь в социологию, историческую и культурную антропологию и тому подобное.

Давайте уже перейдем к вопросам. Огромная заслуга книги Кирилла состоит в ее попытке сломать то, что я назову «пушкинской парадигмой пугачевщины». От кого мы узнали о существовании пугачевского бунта, восстания, пугачевщины, как угодно назовите? От Пушкина. Очень мало людей узнали об этом, скажем, из школьного учебника по истории России, да и там это рассказано с цитатами из «главного классика». Почти нереально «перевернуть игральную доску», когда речь идет о событии, канонизированном «главным классиком» русской литературы (и это если даже не вспоминать, скажем, о Державине). Кирилл, стоила ли игра свеч в данном случае?

Кирилл Осповат: Начну с благодарностей: спасибо большое организаторам Кириллу и Игорю за эту дискуссию, Анне и Константину за согласие выступить. Смотрю я на всех в зуме, и кажется, что стоила игра свеч, – отвечая на ваш вопрос, Кирилл. Замечательные полемические вопросы – после любой бы книжки так.

Я работаю в Америке, и один из вопросов, на который мне приходится отвечать, когда я говорю об этой книге или представляю ее фрагменты по-английски, – почему она написана и выходит по-русски. Это было с моей стороны сознательное и политическое решение: как Кирилл отчасти уже сказал, мне казалось важным предложить по-русски альтернативный проект осмысления национальной – а точнее, имперской – истории, который смотрел бы на вещи не с точки зрения государства, а с точки зрения низов.

Кирилл очертил две историографические традиции – марксистскую и народническую; они действительно сталкиваются и переплетаются. Например книга Энгельса «Крестьянская война в Германии» замечательна уже тем, что тут основополож-

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



Кирилл Александрович Осповат (р. 1980) – филолог и историк культуры, автор книги «Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века» (2020), профессор Университета Висконсина в Мэдисоне.

ник марксизма пишет монографию про крестьянский, а не пролетарский протест. В 1525 году, о котором говорит Энгельс, не было пролетариев, были крестьяне. Есть интересное раннее письмо Маркса, где он впроброс говорит о том, что если в Германии начнется пролетарская революция, то ей понадобится поддержка крестьянства, повторение 1525 года. Это один из немногих моментов, когда Маркс описывает сценарий крестьянской революции. Много лет спустя Маркс, который читал русских народников и соглашался с ними в вопросе о крестьянстве больше, чем с русскими марксистами, прочтет и законспектирует книгу одного из архитекторов народнической историографии Николая (Миколы) Костомарова «Бунт Стеньки Разина». Эта книга, на которую я опираюсь, реабилитирует низовое протестное сознание крестьянства, которое может и говорить, и воевать за себя; казачество для Костомарова – вооруженное и освободившее себя крестьянство.

Сейчас, наверное, не выйдет ответить на все вопросы Кирилла, но, раз уж речь пошла о Костомарове, вспомню его тезис, который у меня в книге прямо не процитирован, но заслуживает внимания. Костомаров спорит с государственным Соловьевым: Соловьев пишет историю с точки зрения государства, а Костомаров настаивает, что ее надо писать с точки зрения *народа* и что историк обязан восстановить выработанный *народом* идеал своего существования. Обратим внимание, что в этой оптике существование низов не сводится к практике жизни в угнетении. У классического Маркса пролетарии – это те, кто в ситуации угнетения на заводах растерял культурный багаж мечтаний и надежд и остался с максимально практичным, голым осознанием своего экономического положения. Костомаров, напротив, реконструирует связный социальный идеал крестьянских низов, альтернативный феодальному порядку и бытующий в сфере идей потому, что на практике его осуществлению препятствует вооруженное угнетение. Фиксация этого идеала мне кажется принципиально важной. Историческое существование низов не сводится к факту угнетения или фигуре бунта, бессмысленного и беспощадного; в их существовании обнаруживается и сфера социальной мысли и политического творчества. Она выходит на поверхность в мятежах, которые век за веком каратели топят в крови, а потом меняют своим жертвам бессмысленную жестокость.

И я хотел бы отреагировать на тезис про модернизацию: Кирилл очертил знакомую телеологическую модель истории – приход капитализма неизбежно уничтожает и оставляет в прошлом темные крестьянские массы. Однако иные модели – в первую очередь теория неравномерного и комбинированного развития Троцкого – позволяют увидеть, почему крестьянские массы

остаются активными силами истории и в китайской революции, и в российских революциях 1905–1907 и 1917–1922 годов. Реальная история не подчиняется одной линейной логике вытеснения крестьянства пролетариатом или индустриализацией; в пространстве комбинированного развития сосуществуют разные векторы и классы. Группы, которым телеология модернизации и индустриализации отводит роль обреченных на поражение, оказываются носителями политического творчества и связанных представлений о социальной справедливости и правах человека, которые у реального пролетариата рубежа XX века не успевают сформироваться. У крестьян такие представления есть, и они проявляются в активных массовых действиях – не только в пугачевщине, но и в революциях начала XX столетия. Пролетарской революции на западе, которую предсказывали Маркс и Ленин, не случилось, а случились две крестьянские революции в России.

К.К.: Константин, что вы скажете – так сказать как практикующий историк?

Константин Ерусалимский: Да, коллеги, с удовольствием присоединюсь. И прежде всего непротокольные вещи. Книжку прочитал с огромным интересом, поддерживаю и пафос, и многие логики, и ряд выводов. Вся критика, которую я озвучу сейчас, не противоречит моему главному выводу: книга замечательная и состоялась как вызов.

Сразу обращаю внимание, как и Кирилл Кобрин, что книга Кирилла Осповата – это многоаспектный, многосторонний вызов, брошенный предшествующей исследовательской традиции, а точнее, самым разным традициям исследования. Это переоткрытие самого феномена пугачевщины – и, согласен, что здесь речь идет о преодолении или попытке по крайней мере выползти из шкуры екатерининско-пушкинского взгляда, согласно которому силы порядка борются с «мятежной сволочью». Это выражение анализируется в книге в самых разных своих модификациях.

Также перед нами тотальная критика структурно-семиотического направления в интерпретации, причем выводы очень суровые, местами радикальные в адрес традиции Юрия Лотмана, Бориса Успенского, Виктора Живова. Но и тут я поддерживаю Кирилла Осповата: мне кажется, что это нужная деконструкция одной из наиболее влиятельных исследовательских традиций. На основе этой деконструкции Кирилл выстраивает, переустраивает исследовательский «конструктор», реорганизует по-своему какие-то детали и пытается сформировать новый, хотя и близкий московско-тартусской школе, структурно-

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



Константин Юрьевич Ерусалимский (р. 1976) – историк-новист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, автор нескольких монографий по русской истории XVI–XVII веков. Сферы научных интересов – культурные контакты Московского царства и Речи Посполитой (I), эмиграция «нулевой волны», гендерная история, теория истории.



семиотический язык. Я бы подискутировал, насколько этот язык уместен.

Не менее интересно, как в книге выстраивается полемика с советскими историками. Кирилл Осповат неоднократно декларирует свою приверженность по меньшей мере троцкистскому пониманию и троцкистским логикам интерпретации народных движений – и, кстати говоря, сходные логики принимали и коммунисты, и социалисты, и либералы. Вспомним трактат «Политика как призвание и профессия» Макса Вебера: он содержит прямые ссылки на Троцкого. Но троцкизм в обсуждаемом нами случае наносит разрушительный удар по советским научным логикам, потому что в ревизионистской традиции советский марксизм оказывается – если несколько заострить логику Кирилла Осповата – несостоятельным в интерпретации крестьянских движений именно потому, что это попытка увидеть истоки марксизма, увидеть истоки пролетарского движения, найти в крестьянстве силу, пробуждающую следующие этапы народных движений. И такой подход пытается прикрыть собственную ущербность ущербностью крестьянского движения. Мне кажется, что в книге многократно удачно показано, насколько и ранние работы Лотмана, выбивающиеся из советско-марксистского ряда, и интерпретации досоветских и советских авторов, на которых есть подробные ссылки, прямо вступают в противоречие с закрепившимся марксистско-ленинским представлением.

В ревизионистской традиции советский марксизм оказывается несостоятельным в интерпретации крестьянских движений именно потому, что это попытка найти в крестьянстве силу, пробуждающую следующие этапы народных движений.

На мой взгляд, это выглядит как убедительная критика – тем более, что ей сопутствует еще одна. Эта критика уже из перспективы постколониальных исследований, и она нацелена в книге Кирилла Осповата на интерпретацию просветительских революций, радикального Просвещения как сугубо западного продукта. Возможно, эта логика намечена лишь пунктирно и не доведена до конкретных формулировок, но сами эти тезисы в книге видны. Пугачевщина может рассматриваться если не в качестве первого большого революционного движения радикального Просвещения, то по крайней мере в одном ряду с ним. Революция в России вспыхивает за год до революции в Америке, и при этом оценки пугачевщины – со стороны как рево-

люционеров (например Жака-Пьера Бриссо), так и контрреволюционеры (например Эдмунда Бёрка) – в этом отношении сходятся. Много других свидетельств о Пугачеве, кстати говоря, как и о предшествующих народных движениях в России, исходят из европейских читательских и просветительских кругов. Их очень интересно анализируют коллеги, и они говорят, что за этими движениями очень внимательно следили современники во всем мире.

Здесь я остановился бы с похвалами – впрочем, нет, сейчас будет еще одна. Как только мы осознаем логику *subaltern studies* или *postcolonial studies* как необходимую подоснову для наших рассуждений о Пугачеве, нам тут же требуется очень большой пласт языковой работы – стилистической, риторической, лексической и дискурс-аналитической, – которая показала бы, что пугачевщина и сам Пугачев действительно попадают в рамки просветительского движения, связаны с ним. Это отнюдь не так очевидно – приходится интерпретировать, например, труды и даже сам образ Александра Радищева в этой перспективе, что оказывается непростой задачей, поскольку Радищев все-таки не был сторонником пугачевского движения, хотя его и можно радикально реинтерпретировать, как это делает Кирилл Осповат. Но и то, как выступление Радищева оценивала Екатерина II, и то, о чем он прямо и опосредованно говорил в 1790 году и в более ранних своих высказываниях, свидетельствуют о нем, думаю, как-то иначе.

И здесь в отношении тех мест в обсуждаемой книге, которые посвящены манифестам пугачевского движения, я как раз не согласен – например, с тем, что «Просвещение» в манифестах Пугачева нельзя было вычитать из самих же правительственных актов, которым он сам и его соратники подражали. Со многим я не соглашусь и в том, что касается фольклора или «народных песен». Этот пласт наблюдений, на мой взгляд, играет незаслуженно большую роль в книге, прежде всего потому, что не очень ясны обстоятельства возникновения этих песен, не очень понятны их привязки к конкретным событиям. Часто Кирилл Осповат сам же «отвязывает», казалось бы, повстанческие народные песни от пугачевского движения, доказывая, что они с ним не связаны напрямую, а возможно, даже имеют отношение к противоположной стороне конфликта. Но тем не менее это все равно очень интересная попытка, и она соединяет классическую филологию в том ее понимании, которое складывалось еще в XIX веке, с задачей, решаемой в книге.

Выскажу последнюю похвалу, которую считаю абсолютно заслуженной. Книга включается в традицию историко- и культурно-антропологических исследований школы «Анналов» в том духе, который наметился в третьем и четвертом поколении этой

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



научной школы. Кирилл Осповат прямо называет свой метод – вслед за Робертом Дарнтоном – «социальной историей идей» (мне эта формулировка встретила не у Дарнтон, а у Алена Буро). Тому же способствует и направленность книги на вскрытие антропологических явлений в «истории снизу», у тех, кого Арон Гуревич считал «безмолвствующим большинством», которое, конечно, не безмолвствующее. С этим я тоже согласен. Традиция Жоржа Лефевра, Эдварда Томпсона, Джеймса Скотта, Ранаджита Гухи, Гайатри Спивак – также весьма значимая ревизионистская традиция.

И здесь, заканчивая свою реплику и в развитие похвалы, я не удержался бы от критики, пусть и чрезвычайно трудной для меня. Мне кажется, она не требует полного разделения лагерей, хождения между баррикадами. О том же говорил Кирилл Кобрин в своей начальной реплике, касательно правоконсервативных оценок. Мне кажется, что нужно прислушаться к тому, как правые ревизионисты видят так называемую «историю снизу», насколько трудным оказывается отстаивать каждый шаг. В частности, практически не затронутые в книге наблюдения за низовой терминологией будут рикошетом играть против концепции Кирилла Осповата. Я имею в виду, скажем, наблюдения Александра Чудинова за понятием «народ» в годы Французской революции. Думаю, что это общая, очень большая, антимарксистская тенденция в ревизионизме, берущая начало из работ 1970-х. И как раз Чудинов делает прямо противоположное тому, что намечает Осповат: показывает, насколько голословными, насколько формальными, насколько пустыми и нереференциальными были многие «народные» термины, или так называемые «термины низов» или «конструирования низов», в том числе само понятие «народ» и различные его модификации как в революционной, так и в наполеоновской Франции. В этом же направлении движется Линн Хант, когда пишет историю «прав человека». В этом же направлении, как мне кажется, во многом движется и Дарнтон в своих поздних работах, в частности – в книге, посвященной революционной стихии.

В нашем распоряжении множество примеров, когда активность масс развивается не снизу, а откуда-то еще. Вот в этом смысле я бы выстроил все-таки идеологическую и даже, может быть, научно-критическую перспективу, которая обострила бы интерпретацию и потребовала от Кирилла Осповата еще больших усилий. Но требовать сейчас этих усилий невозможно – книга уже готова. В таком виде ее и не надо никак менять, но в будущем, мне кажется, это потребуются. Последний пример: странно выглядит неупоминание Чикагской школы, концепции Чарльза Тилли в тех местах, где говорится о госу-

дарственности, учитывая постоянный акцент в книге на теме бандитизма (как правило, в интерпретации Эрика Хобсбаума и других левых историков). Но есть же совершенно противоположный взгляд, когда мы не противопоставляем движение снизу движениям сверху, «революциям сверху» (этим термином пользовался, скажем, Натан Эйдельман), или каким-то государственным институционализациям, а пытаемся, наоборот, связать их единой логикой. И такие попытки на российском материале предпринимались: например, книга «Аз есмь царь» Клаудио Серджио Ингерфлома, в которой автор доказывает, что государственное устройство России выросло во многом как самозванный аппарат, как аппарат, в котором институты подмены и институты самоучреждения были в постоянном взаимном диалоге и друг без друга не существовали.

К.К.: Анна, как вы видите эту книгу и ее, извините за термин, *message*?

Анна Нижник: *Message* меня как раз и интересует, потому что в начале книги Кирилл Осповат довольно много пишет о традиции в вопросе, могут ли угнетенные говорить, и каково здесь место историка. Здесь нужно отметить два важных момента. Первый – это «подсветка» нерассказанного, возвращение, так сказать, исторической справедливости: представление историй людей, которые не имели возможности их зафиксировать, или историй, которые были переиначены. Этот пафос в книге действительно существует. Второй момент, говоря словами Спивак: какие есть нарративные полномочия у историка излагать события именно таким образом? Мне кажется, нет ничего плохого в том, что книга Кирилла Осповата отчасти представляет собой аллереорию. Мне кажется, что это морально нагруженное повествование о пугачевском восстании, которое заставляет читателя переосмыслить собственные представления об иерархии политических сил.

Я хотела Кирилла немножечко подколоть: у меня в процессе чтения мелькнула мысль, что книга похожа на брошюру, которую переводил Разумихин в «Преступлении и наказании», где торжественно доказывалось, что женщина – человек. Здесь так же происходит с субалтернами: человек ли житель Сечи, человек ли участник пугачевского восстания? Кирилл доказывает, что человек и политический актер. И, хотя из моей перспективы это кажется несколько банальным, я понимаю, что наша историческая наука и остатки публичного поля нуждаются в том, чтобы кто-то доказывал такие очевидные вещи. Однако при всей привлекательности этой задумки, мне кажется, что в исследовании проскальзывает несоответствие методологий. В оптике

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



Анна Валерьевна Нижник (р. 1987) – доцент Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, политическая исследовательница.

Джеймса Скотта субалтерны имеют собственную, скрытую от посторонних глаз, систему ценностей, – необходимо лишь ее восстановить, описать. В оптике Лотмана, о котором много пишет Кирилл, низовые практики являются отражением или переиначиванием дискурсивных практик элиты, и тогда субалтерн продолжает быть подчиненным, пусть и периодически бунтующим. Это несоответствие можно спекулятивно углубить. Может быть, историк и должен спекулировать, задавая себе вопросы: «А что бы я сделал в такой ситуации?», «А что бы я сделал тогда?». В каком-то смысле это анахронистический подход, но он снимает историка с пьедестала всезнания.

Если говорить про методологию, то мне очень понравилась попытка рассказать историю пугачевского восстания как классовую, но марксистская рамка внезапно меняется на рамку республиканской политической традиции. Мне кажется, чтобы примирить анализ республиканского дискурса и классовый подход, стоило бы посмотреть не только на дискурсивные, но и на бытовые практики: механику восстания, особенности коммуникаций, историю медиа. Так делал Скотт в книге «Искусство быть неподвластным», описывая, как жители горных районов Юго-Восточной Азии выращивают корнеплоды вместо риса или ведут двойную бухгалтерию для сборщиков податей. Кирилл убедительно доказывает, что военизированное казачество имело свой особый уклад, но важна и механика того, как рождаются фольклорные политические манифесты, как разные части этой восставшей полуармии коммуницируют между собой, – для понимания, что представляла собой та казачья публичная сфера, если она вообще там была.

Особенности коммуникативных практик определяют характер тех или иных учреждающих событий, пусть и провалившихся, как пугачевщина.

Особенности коммуникативных практик, на мой взгляд, как раз и определяют характер тех или иных учреждающих событий, пусть и провалившихся, как пугачевщина. Но было ли это учредительным событием, направленным на перестройку политического порядка, остается непроясненным. Возникает вопрос: почему мы должны смотреть на него как на нечто альтернативное, самобытное – или достаточно взгляда именно из перспективы европейской политической истории? Как пишет Кирилл Осповат, Екатерина, хорошо знавшая политические теории своего времени, внимательно читавшая Монтескье, увидела именно это. Мы опять упираемся в дихотомию элит и низов.

«Восставшие массы» получают в книге голоса, причем очень разные. Кирилл Осповат – литературовед, который занимался образцами высокой поэзии, и он немного извиняется перед читателями за то, что «Плач холопов» – анонимный документ эпохи – написан недостаточно изысканно. Ну, мы, собственно, того и не ждали.

Еще мне очень понравился околофуколдианский анализ судебных материалов: интересно, как допрос должен был выглядеть в зависимости от разных практик, принятых в делопроизводстве. Возможно, эта проблема решилась бы как раз через бóльшую спекулятивность, когда пугачевское восстание рассматривалось бы не как дискурсивное событие, дискурсивная революция или бунт, хотя это тоже очень интересно, но и как практика «делания». Это пожелание к будущим исследованиям, если Кирилл за них возьмется.

Извините, что это прозвучало слишком критически.

К.К.: Спасибо. А мы и собрались, чтобы ругать.

Игорь Кобылин: Это вы еще меня не слышали.

К.К.: Вот мы как раз к вам и переходим. Смотрите: была пугачевщина, и о ней можно говорить так, как это делает Кирилл Осповат. Но применим ли такой подход к другим событиям бурной русской истории, или же это эксклюзивный исследовательский и мировоззренческий инструментарий, который приложим только к Пугачеву? Каждое ли бурление агентности (извините за метафору) настолько типологически похоже на другое, что о нем можно написать такого рода книгу? Обращаюсь к вам как к специалисту по агентности.

И.К.: Во-первых, позвольте поблагодарить обоих Кириллов: Кобрину за приглашение участвовать в этой дискуссии, а Осповата за сам ее предмет – по-хорошему провокативную и, я бы сказал, воодушевляющую книгу о Пугачеве и пугачевщине.

Я чувствую себя несколько неловко в компании специалистов-историков, поскольку совсем не специалист ни по Пугачеву, ни по русской истории вообще – да и историк я только по базовому образованию и давно занимаюсь другими, преимущественно философско-теоретическими, вещами. Поэтому об историко-эмпирической части работы я компетентно высказываться не могу – отмечу только, что мне как читателю аргументация Кирилла показалась весьма убедительной. Но у этой книги, как я понял, есть и другие ставки – условно назовем их теоретико-политическими. И вот здесь у меня возникает несколько вопросов, главный из которых – вопрос о субъекте.

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



Игорь Игоревич Кобылин (р. 1973) – философ, историк культуры, доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания Российского государственного гуманитарного университета, преподаватель программы «Политическая философия» Московской высшей школы социальных и экономических наук, доцент Приволжского исследовательского медицинского университета.

Ключевой задачей работы было продемонстрировать политическую агентность восставших – и не просто агентность (она бывает разной), но агентность рациональную, не уступавшую в рациональности своим «просвещенным» противникам, а то и превосходившую их в «разумении» политико-экономической ситуации. Сама эта задача – блестяще выполненная! – была поставлена автором в полемическом противостоянии догмам советской историографии. Безусловно сочувствуя участникам многочисленных крестьянских восстаний, советские историки и обществоведы, однако, квалифицировали крестьян-бунтовщиков в качестве «темных» и «невежественных», их идеологию – как «религиозно-утопическую», а сами восстания и бунты описывали как «стихийные» и «заранее обреченные на провал». Более того, эта «обреченность» носит структурный характер: подлинное освобождение возможно только на стадии изживающего себя капитализма, когда произведенное им «изобилие» может послужить основой для создания нового общества. Михаил Лифшиц – советский философ-эстетик, – споря о том, возможна ли «пролетарская трагедия» или «коммунистическая трагедия» и, если возможна, то какой она должна быть, как-то заметил, что тут не нужно ничего придумывать – достаточно взять любого вождя народного восстания эпохи Средневековья или раннего Нового времени, и трагедия почти в античном смысле готова: герой ясно осознает ужасающую несправедливость социального мира, но не может ничего с ней поделать. Даже выиграв сражение, он проиграет битву – скрытые от него (да и от всех участников трагедии) силы истории еще не подготовили почву для создания справедливого общества в полном смысле этого слова. Крот истории роет, конечно, верно и неутомимо, но очень медленно. Поэтому сама история оказывается античным роком для героев всего «домарксистского» (как говаривали советские марксисты) освободительного движения.

Кирилл Осповат очень много сделал, чтобы радикально поменять такие представления о крестьянском бунте и его субъекте, справедливо полагая, что словарь исследователя во многом совпадает здесь со словарем угнетателей. Выясняется, что между неграмотными крестьянами и их образованными владельцами существовала целая сеть грамотных челобитчиков – посредников, выстраивавших сложную систему коммуникации, так что тезис о тотальной «темноте крестьянских масс» придется оставить или во всяком случае серьезно скорректировать.

Совершенно замечательная часть работы – это критика устоявшегося взгляда на крестьян как носителей наивно-монархического сознания. Вроде бы самозванничество Пугачева, выдававшего себя за Петра III и демонстрировавшего «царские

знаки» на теле, играет как раз на сторонников «глубинного монархизма», но автор убедительно показывает, что этот сюжет можно трактовать совершенно иначе: «Петр III» у пугачевцев не столько имя конкретного монарха, сколько титул, на который Пугачев претендует, а казацкий круг еще должен – вполне демократическим путем – эту претензию подтвердить. И уж чего здесь точно нет, так это наивности. Есть довольно сложная политическая игра, включающая целый спектр реакций, вплоть до расчетливого «макиавеллизма».

В последней трети работы идеология пугачевцев, артикулированная в манифестах, описывается как составная часть глобального фронта «радикального Просвещения». Дискурсивным и политическим уловкам некоторых «официальных» просветителей, прекрасно понимающих суть дела, но боящихся делать радикальные выводы и тем более предпринимать реальные политические шаги (такой просветительницей в книге предстает Екатерина II), плебейские просветители противопоставляют нередуцируемую аксиому равенства, если воспользоваться здесь выражением Жака Рансьера, и идут в ее реализации до самого конца.

**Крот истории роет верно и неумоимо, но очень
медленно. Поэтому сама история оказывается
античным роком для героев всего «домарксистского»
освободительного движения.**

Все эти тезисы чрезвычайно интересны и прекрасно аргументированы, но если приглядеться, то вопрос о субъекте все-таки не решен и видны авторские теоретические колебания. Кто субъект восстания? Вроде бы понятно – речь идет о казаках, постепенно вовлекающих широкие круги крестьян в орбиту своего движения. Этот момент прекрасно акцентирован в книге: цель пугачевцев – «вся Расея», тут крестьянский экспансионизм восстания парадоксально коррелирует с имперским. Крестьянство где-то в книге называется даже «универсальным классом».

И вот тут вопрос. Понятно, почему марксисты делают ставку на пролетариат: тот не имеет своей «доли» в обществе и, будучи «обездоленным» в прямом смысле, представляет абстрактную универсальную человечность как таковую. Именно поэтому пролетариат – это последний класс, призванный разрушить классовую систему, в том числе и упразднить себя в качестве класса. Здесь задается вектор движения от универсально-абстрактной человечности к универсальной же, но уже овладевшей всем богатством истории человечности коммунист-

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ
СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ
НИЗОВ»?



тической. Крестьянство же – это само воплощение партикулярной «доли». Отсюда и нелюбовь, так сказать, марксистов к крестьянству. Победа крестьянства в этой оптике означает универсализацию партикулярности в ее партикулярности, простите мне это чудовищное выражение. Не так важно коллективное владение землей, важно, что это увековечивание «доли». И никакого движения в будущее здесь уже не предполагается. Это мир, замыкающийся на самом себе, вынужденный «срезать» любой избыток, бесконечно оберегающий самождественность.

И – чтобы закончить с крестьянством – возникает и другой вопрос. В первой части книги вы, Кирилл, обращаетесь к эссе Гайатри Спивак «Могут ли угнетенные говорить?», у которой угнетенные – это сложный, гетерогенный, расколотый субъект. Вы вроде бы с ней солидаризируетесь, во всяком случае не вступаете в эксплицитную полемику (лишь указываете на критическую позицию Вивека Чиббера), но ваше крестьянство – прямая противоположность такому субъекту. Оно не просто рационально, оно, если так можно выразиться, насквозь рационально, смотрит на мир «как он есть», без какого-либо идеологического опосредования. А Альтюссер говорил, что идеология как ложное сознание реальных условий жизни сохранится в каком-то виде даже в коммунистическом обществе.

Однако оказывается, что даже не российские крестьянство и казачество определенного периода являются субъектом – они лишь конкретно-историческое воплощение «угнетенных», греберовского «народа», который всегда равен самому себе и требование которого всегда одно и то же: предъявление власти имущим аксиоматики равенства. Я несколько упрощаю, но кажется, что это предъявление нечто вроде платоновской идеи, которая обнаруживает себя в своей неизменности в самых разных, исторически изменчивых ситуациях – где-то целиком и полностью, со всей ясностью и отчетливостью, где-то более или менее смутно, – и необходимы археологические усилия, чтобы это требование «раскопать».

И это мой ответ на вопрос Кирилла Кобрин по поводу масштабируемости оптики на другие восстания и одновременно – некоторое полемическое несогласие с его первоначальным тезисом: книга Кирилла Осповата, конечно, историческая, но имеющая твердый антропологический фундамент: «народ» здесь заново утверждается в своей «стихийности», если понимать «стихийность» не в качестве «неорганизованности» и революционной «незрелости» (в отсутствие мудрого партийного руководства), а в более древнем и более философском смысле – «стихия» как первоначальный элемент, архэ,

первовещество. В этой логике Высокое Просвещение, с его а- (или даже анти-) исторической апелляцией к Природе и Разуму, от этой Природы неотделимому, – это уникальный момент развития «господской» мысли, когда она непосредственно совпадает с народной. Никакого короткого замыкания плебейской мысли с последующими романтизмом, гегельянством или даже марксизмом уже нельзя себе представить. Плата за открытие историзма – аллохронизм и экзотизация Другого в его стадийной инаковости.

Наверное, этого «антропологического» субъекта можно помыслить иначе, без привязки к антропологическим реалиям – чисто политически и процессуально, в терминах Бадью, например. Логика восстания/бунта, логика События запускает процесс субъективации – и этот субъект неотделим от самого События. Тут действительно можно говорить о вторжении своего рода платоновской вечности в суетливый мир исторической ситуации. Но все это требует отдельного тщательного исследования.

К.О.: Спасибо, коллеги. Замечательные возражения. Мне очень понравилось мягкое приглашение Анны подготовить еще одну книжку. Я писал историческую книгу и действительно не сводил воедино на теоретическом уровне те разные вопросы, которые точно очертил Игорь. Начну с того, что отвечу Игорю, потому что это методологически принципиально важные моменты.

Перед нами теоретическое расхождение в конструкциях субъекта между постколониальным идентитарным многообразием, *diversity*, и ясным, осознающим себя коллективным агентом – *народом* или *классом*, как его описывает Вивек Чиббер. Другое расхождение – между консервативным и революционным крестьянством; эта проблема, с которой сталкиваются радикалы XIX века от Маркса до Чернышевского и российских народников. Это плохо разрешаемая проблема, потому что крестьянство может быть и таким, и таким – после вековой покорности вдруг устрашающий бунт. В книге о пугачевщине у меня не было возможности проследивать этот теоретический вопрос и попытки его разрешения, но в следующих проектах я думаю к нему вернуться.

При всем том фигура, которую я пытаюсь описать, – это не просто неизменный греберовский антропос, хотя Игорь правильно увидел его в моей книге. Дэвид Гребер – фундаментальная для меня точка отсчета, без него книги не было бы. Вместе с тем мне принципиально важно осмыслить восстание как действие и событие – не простое проявление заданного и наличного, но момент исторического слома, когда меняется и природа коллективного субъекта. Революционное крестьянст-

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



во веками незаметно на исторической сцене; российское народничество до сих пор обвиняют в идеализации крестьянства просто потому, что те, кто надеялся на массовый мятеж в 1861 году, ошиблись в датах (в предсказаниях революции часто ошибаются) и не дожили до 1905-го и 1917-го, когда многие их ожидания и прогнозы осуществились. Энгельс пишет о Крестьянской войне 1525 года потому, что триста лет после того, как поначалу мирный массовый протест утопили в крови, крестьяне в Германии не протестовали – но этот протест может вернуться снова.

Принципиально важно осмыслить восстание как действие и событие – не простое проявление заданного и наличного, но момент исторического слома, когда меняется и природа коллективного субъекта.

В XX веке вокруг диалектики бунтующего и покорного крестьянства построил свой проект Джеймс Скотт. Сначала он написал про крестьянский бунт, а потом решил, что важнее смотреть не на мятежи, а на повседневность вне их. Я двигаюсь в обратном направлении и пытаюсь описать момент перехода, формирования коллективного революционного субъекта из географической и идентитарной раздробленности. Пугачевщина действительно вырастает из имперского разнообразия, когда разные группы сосуществуют под общей властью, но живут по разным правилам и друг с другом воюют. Казаки служат в обычные времена авангардом колониальной экспансии против башкир, и в этой логике они должны друг друга ненавидеть. Один из поразительных антиколониальных моментов пугачевщины, о котором, кстати, Пушкин тоже рассказывает, – что все эти многочисленные группы объединяются, казаки и русские крестьяне договариваются с башкирами против собственного имперского порядка – довольно редкая, вообще говоря, ситуация для колониальных империй. Если взять американскую войну за независимость против метрополии, то колонисты там не объединяются с индейцами – их используют как военный ресурс, но потом новообразованное государство отнимет у них и территории, и права. Разного рода договоры и союзы белых с индейцами в Северной Америке – это часть процесса колонизации, Российская империя тоже так действовала.

В пугачевщину происходят совершенно иные вещи. Пугачевские манифесты, часть из которых написана по-татарски, гарантируют всем группам равные гражданские права, включая

право на владение – а точнее, пользование – землей и природными ресурсами. У меня в книге есть фраза, которую я люблю повторять в докладах: пугачевцы напоминали бы Вашингтона и Джефферсона, если бы те в период боев с британскими войсками провозгласили отмену рабства и гарантировали аборигенам на всем американском континенте безусловные права коллективного землепользования и личной свободы. В момент пугачевского восстания происходит формирование революционной коалиции угнетенных групп. Убежденный пугачевец, старый крестьянин Семен Котельников узнал историю о воскресшем Петре III, идущем освобождать крестьян, от башкир Салавата Юлаева, которые заняли его село и оказались ему ближе, чем барский приказчик, в культурном отношении – свой же брат-крестьянин; но их пугачевцы судят и часто вешают.

Вот этот удивительный исторический феномен я и пытаюсь описать. Перед нами, с одной стороны, антиколониальная коалиция, а с другой стороны, я предлагаю видеть тут формирование класса (если процитировать название монографии Эдварда Палмера Томпсона, так и не переведенной на русский). Что такое класс? У нас есть определение Маркса из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», которое подхватывает Гайатри Спивак. У класса есть две формы. Он может существовать в недособранном виде, что в основном и происходит на протяжении истории: группы, объединенные экономическими интересами, не осознают их связанность и не объединяются в единую силу. Но в акте восстания – или революции – может произойти формирование класса, сознающего себя. Мой тезис состоит в том, что участники пугачевщины собирали классовую коалицию на основании экономических требований.

Здесь мы возвращаемся к проблеме сознания трудящихся классов, о которой я уже говорил. В классическом марксизме, как показывает Балибар, есть фундаментальное противоречие между идеей пролетариата как класса, чье сознание очищено от любого идеологического, символического содержания и является чисто-практическим знанием о формах капиталистического угнетения, – и необходимостью альтернативной идеологии, связанных представлений об общественной справедливости и просто добре и зле, необходимых для победы революционного класса. Эмпирически такой связной идеологии трудно ожидать от пролетариата, формирующегося на глазах в чудовищных условиях из деклассированной бедноты. У крестьянства же, веками вырабатывавшего языки и практики сопротивления, она была – что Энгельс и Костомаров констатируют уже в 1850-е.

Разработанное крестьянское мировоззрение позволило пугачевцам с удивительной легкостью собрать класс как массо-

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



вую революционную коалицию. И в этом состоит мой ответ на то, почему мы можем считать крестьянство универсальным классом. Крестьянская идея справедливости внятна самым разным группам. В источниках мы видим, с какой легкостью казаки (которые не считают себя русскими и включают мусульман), башкиры и русские крестьяне договариваются об общих требованиях по отношению к имперскому центру, которому в другое время эти же казаки служат против башкир. Эти требования подробно сформулированы в пугачевских прокламациях: справедливый и всеобщий доступ к земле и природным ресурсам, выборные институты и прямая демократия на местах, всеобщие права человека, упразднение наследственных иерархий и принудительного труда.

Формирование массовой коалиции самых разных групп колониального фронта на основании этих требований – одна из самых удивительных сторон пугачевщины. Слово *пугачевщина* может быть более исторически точным названием этого формирующегося класса, в составе которого крестьяне составляют только одну, хотя и самую многочисленную, группу, а русские земледельцы воюют рука об руку с кочевниками, сопротивляющимися навязываемой им сверху оседлости. Какое будущее все они предлагали? Интернационализм и коммунизм.

И.К.: Буквально пару реплик о крестьянском коммунизме. Можно сколько угодно иронизировать по поводу слов Энгельса о том, что при коммунизме каждый с утра может половить рыбу, в обед заняться научным исследованием, а вечером написать статью в журнал, но это не отменяет логики марксистского понимания коммунизма. Коммунизм – это обретение отчужденной в классовых формациях родовой сущности человека. А родовая сущность, напоминаю, означает универсальное (в отличие от специализированного видового) овладение миром, раскрытие всех творческих потенциальностей, в человеке заложенных, и так далее. Наверное, сегодня мы должны критически к этому отнестись, заново продумать эти марксистские положения, но вот крестьянский коммунизм в качестве альтернативы мне кажется сомнительной идеей.

Когда я читал весьма показательный эпизод о том, как казачий круг боролся с внутренним имущественным – и как следствие политическим – расслоением на старшин и голытьбу (борьба, собственно, заключалась в создании нового круга на прежних основаниях равенства – то есть круг пытался всякий раз воспроизвести себя в изначальном виде), то вспоминал последнюю часть «Тысячи плато» Делёза и Гваттари, их описание того, как «дикари» пытались выстроить заслон уже рвущемуся из виртуального пространства государству во всем блеске его

репрессивных возможностей. Государство вопреки эволюционистской логике не было где-то в будущем, на следующей фазе исторического развития, оно присутствовало в жизни архаических народов в качестве актуального предела их деятельности. Они пытались удержать его там и не преуспели в этом. Пугачевцы со всем их глобальным экспансионизмом – это такие же держатели обороны против дифференциации, расслоения, образования излишков и избытков, против истории, наконец. Их экспансионизм – это экспансионизм героической обороны.

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?

К.К.: К вашему Марксу я добавлю немного маоизма. Проблема крестьянства и революции/коммунизма нигде не стояла так остро, как в Юго-Восточной Азии, где никакого пролетариата почти не было, поскольку до конца XIX века практически не было промышленности. Маоизм – и производные от него еще более кровавые идеологии – стал ответом на эту ситуацию. Мао решил делать крестьянский коммунизм со всеми вытекающими для высокой китайской культуры последствиями не по врожденной злокозненности, а просто *оказавшись в ситуации революции с единственным классом, который действительно мог эту революцию сделать*. И свои представления о мире этот класс во многом привнес в политическую практику, а Мао – гениальный политический стратег – лишь следовал за тем, куда его подталкивало крестьянство. Я огрубляю – конечно, надо брать в расчет традиции разных китайских регионов и разных групп населения, политической культуры на разных уровнях, – но, по большому счету, мне кажется, что это так.

И.К.: Есть же прямо тезис маоизма: «Держаться линии масс».

К.К.: Безусловно.

А.Н.: Мне хотелось бы поделиться размышлениями, связанными с той картиной революционной ситуации, которая изображается в тексте. Там много говорится о республиканизме и его главном компоненте – *virtus* – доблести и чести действовать прямо сейчас; о том, что пугачевское восстание – это радикальное ускорение времени, когда бунтовщики требуют все большего, но потом Пугачев говорит на допросе, что не знает, что конкретно собирался предложить, если бы получилось взять Москву. И тогда возникает вопрос: вписывается ли это событие в политическую логику? Кирилл Осповат доказывает, что там были проявления низовой демократии – но могла ли она реализоваться?

Республиканизм и демократия – это разные вещи. То, что описано в книге, – это спартанский республиканский порядок,



который поощряет в первую очередь воинскую доблесть, что хорошо видно по тому, кого казаки хотят избирать из своих рядов: «Чтобы был славен и известен наказаниями и воинской доблестью». Выигрывает харизматический лидер, которым становится Пугачев. Мне интересно: как именно проводился этот плебисцит? Насколько я понимаю, по принципу аккламации. Даже когда мы говорим про современный политический республиканизм, вернее, про тех, кто действует исходя из республиканского этоса, он часто позиционируется как дело храбрых рослых мужчин, которые, как в античное время, готовы друг с другом сразиться за свои демократические ценности, – этаким стазис. Вряд ли это соответствует современному представлению о демократии – вернее, стоило бы определить, что именно мы имеем в виду под этим словом.

Даже когда мы говорим про современный политический республиканизм, он часто позиционируется как дело храбрых рослых мужчин, которые, как в античное время, готовы друг с другом сразиться за свои демократические ценности.

Здесь вырисовывается странный парадокс: с одной стороны, это вроде самый черный люд, угнетенные, а с другой, – в общем-то, профессиональная армия, которая следует республиканским идеалам. Поэтому, мне кажется, нет противоречия в том, что некоторые сохранившиеся риторические формулы похожи на те, что были в просвещенных кругах, буквально по Монтескьё. Но о каком виде демократии и о каком виде равенства мы говорим? Социальное устройство казацкой республики не учитывает половину рабочего населения, того самого класса, который в этом торжестве плебисцитарной демократии остается немым, – батраков и женщин. Кирилл Осповат приводит пример про старицу Анну Глухову, но он, мне кажется, больше похож на религиозно-мистический казус, все-таки она не атаманша, в казацкий круг она не принята. Получается, что угнетенный класс, субатлерны, как их рисует Кирилл, имеют внутреннюю иерархию, полурабовладельческое социальное устройство: есть класс, под ним другой, если пороемся, найдем еще один, который молчит еще более глухо. Но тогда и пугачевщина оказывается не событием глобального уравнивания, страстью к равенству, а восстанием за право на землю. Это то, о чем говорит Игорь Кобылин.

Да, есть больше похожая на аккламацию казацкая республика с харизматическим лидером Пугачевым и театральностью ее

как бы плебисцитарных проявлений (мне очень понравились связанные с этим моменты анализа самозванчества): шутовские коронования казацких царей, которые приходят и уходят. «На миру и смерть красна» – республиканский *virtus* требует театра вокруг себя, иначе как все узнают, что вы доблестный гражданин? Но насколько эта интерпретация соответствовала историческим ситуациям? Можем ли мы говорить здесь о демократии? И – если возвращаться к вопросу о спекулятивности – какой посыл у книги, что она говорит о нашем настоящем и не проблематична ли такая историческая аллегория?

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?

К.О.: Я рад, что мы заговорили о проблематике республиканства (мне эта форма кажется по-русски органичнее, чем «республиканизм»). Действительно, в российский контекст дебаты о республиканстве импортируются в либеральном, а иногда и консервативном изводе, как еще одно наименование для правления просвещенных и богатых элит, или на республиканском языке – аристократии. Между тем это не единственная форма республиканской мысли. Есть и радикальное республиканство Джона Маккормика, и республиканство Антонио Негри в книге об учредительной власти. Согласно Маккормику и его прочтению Макиавелли, в основании республиканства с римских времен лежит борьба плебса с аристократией. И сам плебс, и акты его борьбы, и установленные ими формы политического участия могут в классическом республиканстве именоваться *демократией*. (Мы не говорим сейчас о новом, установившемся в XIX веке понимании демократии как правления электоральных олигархий.) Эта линия в республиканстве вытесняется авторами от Гвиччардини до Покока, которые исключают вопрос о плебсе и демократии из конструкций республики, но мы не обязаны им следовать.

В книге я смотрю на источники, в которых республиканский язык используется для описания плебейских, демократических движений – казацкого уклада и крестьянского бунта; в этой радикально-республиканской перспективе я разбираю анализ пугачевщины и крестьянской революции у Радищева и разных его современников. В этом смысле моя книга о пугачевщине – это исследование демократической жизни и демократии как политической формы. В демократии пугачевцев право на участие есть у всех – тут я отчасти возвращаюсь к спору о партикуляризме и универсализме. Русские крепостные, которых освобождает Пугачев, оказываются союзниками башкир, разделяют с ними идеи социальной справедливости и прямой демократии, представление о том, что все они смогут сосуществовать и вести разные образы жизни на общей земле. Самые разные группы не только берут себе право избирать атамана или старосту, но



формируют представление о едином пространстве всеобщего политического участия, охватывающем не только конкретные локации мятежа, но и всю плебейскую Россию.

Ведь что такое демократия? Согласно классическим республиканским определениям, это прямое участие граждан в принятии решений, народное собрание, когда все физически собираются на площадь. Модель местного прямого коммунального самоуправления, которую Маркс потом опишет в «Гражданской войне во Франции» в связи с Парижской коммуной и которая, по его словам, должна будет распространиться в национальном масштабе на каждую деревню, – эта та самая русская крестьянская община, «мир», о котором Маркс вычитал у русских народников и спорил в переписке с Верой Засулич.

В перспективе этого идеала встает важнейший вопрос о границах демократии, об исключенных из нее. Конечно, взбунтовавшееся с Пугачевым общество яицких казаков иерархично. Там есть аристократия-старшина и плебс-голытьба. Есть люди, которые, во-первых, физически не находятся в Яицком городке и, во-вторых, не имеют казацкого статуса, а потому оказываются исключены из народного собрания-круга, лишены права соучастия. Конечно, ни в момент восстания, ни после него никакого идеального демократического коммунизма Яик из себя не представлял. Но в ситуации восстания границы, отделяющие угнетенный класс от еще более угнетенного, начинают «плыть».

Приведу мой любимый пример, но не из пугачевщины, а из Сибири XVII века, о которой пишет замечательный историк Николай Покровский, оказавшийся для меня одним из важнейших ориентиров. Когда в Сибири городские и казачьи миры начали бунтовать против московских воевод, они объединились с местным угнетенным автохтонным населением, которое в обычной жизни должны были колонизировать и эксплуатировать. В момент восстания происходит вскрытие демократической границы: угнетенные группы договариваются между собой поверх проведенных феодальным и колониальным порядком линий противостояния. В расовой иерархии Российской империи яицкие казаки считались более просвещенными, полезными империи, чем дикие кочевые башкиры, находившиеся ступенью ниже, – а в ходе пугачевщины они объединились, как и с крепостными крестьянами, которых можно было просто грабить и убивать, будь то привычный для казаков разбойный поход. Однако тут включается совсем иная, революционная логика плебейской солидарности и *демократии*.

В этой связи очень интересно обратиться и к вопросу о женщинах. В фигуре Анны Глуховой, яицкой старицы, о которой я пишу, нет никакой мистики. Собственно, мой тезис про полити-

ческую теологию пугачевщины и казачества состоит как раз в том, что вместо мистики, литургии и вопроса о спасении души там обнаруживается вопрос о демократической политической форме, о казачьих правах. Глухова держит дома чудотворную икону Спаса, на которую приходят молиться яицкие «старики и старухи» и которая плачет, когда имперская администрация угрожает правам яицкого войска. Перед нами, повторюсь, политическая теология – религиозная транспозиция политической формы и борьбы. «Старики и старухи», которые собираются у Глуховой, – это старейшины, носители общественного авторитета. Обычно в документах речь идет только о «стариках», то есть мужчинах – но потому ли, что у женщин в этом обществе нет власти, или потому, что имперский архив их обычно не видит? Когда начинается официальное расследование истории об иконе Глуховой, которую яицкие казаки вынесли на расстрелянный властями митинг, выясняется, что у них есть не только старики-старейшины, но и старейшины-женщины. Глухова оказывается одной из *старух*, или *стариц*, не только имеющих авторитет в домашней сфере, но и планирующих в ходе яицких волнений 1772 года стратегию протеста, поначалу мирного, но быстро переходящего в вооруженный мятеж.

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?

В момент восстания происходит вскрытие демократической границы: угнетенные группы договариваются между собой поверх проведенных феодальным и колониальным порядком линий противостояния.

На этом примере можно задаться вопросом о положении женщины в казачьих и крестьянских сообществах не только в 1770-е, когда происходит пугачевщина, но и в XIX веке. Какая роль отводилась женщине на сходке в русской крестьянской общине? Это вариант общего вопроса Спивак о том, могут ли угнетенные (женщины) говорить, могут ли крестьяне представлять сами себя. Ответ не может быть дан вне исторической динамики: в разных обстоятельствах бывает разное. Был страшный сельский патриархат, о котором в XIX веке нам рассказала народница и феминистка, этнограф Александра Ефименко, – но есть свидетельства и о равноправном участии женщин в крестьянских сходках. Я немного пишу о фольклоре казаков-некрасовцев, которые во главе с атаманом Игнатом Некрасовым ушли из России на османскую Кубань в начале XVIII века и сохраняли до начала XX века свой образ жизни и устную конституцию, известную как «Заветы Игната». Про



женщин «Заветы Игната» говорят: женщина – мать, ее защищает круг (то есть сходка). В фольклоре некрасовцев, собранном уже в XX веке, женщины играют важную роль как носительницы не только домашней морали, но и политического самосознания общины. Это не коммунизм и не феминизм XX века, но в той степени, в которой сообществам такого рода вообще были вняты идеи политического участия и равноправия, эти принципы могли, видимо, в одних случаях распространяться на женщин – а в других нет.

А.Н.: Не бывает такого консервативного патриархата, где женщина – просто раб. В патриархальных обществах роль старших женщин всегда велика. Но не о гендерной социологии спор, а скорее о том, кого можно рассматривать как субъекта низового сопротивления: тех, кто доблестно сражался и говорил о себе, или, может быть, тех, кто был ко всему этому равнодушен или не нашел выражения своей политической судьбы в республиканских терминах. У Кирилла Осповата проглядывает мысль, что всякая революция содержит в себе пустоту, недореализованность, «темную материю». И получается, что мы про это ничего не знаем и повествование проходит в области публичной рациональности. Я предполагаю, что большая часть этой практики не могла быть демократической именно в силу того, что это была практика сильных.

К.О.: Не совсем так. Я разбираю эпизод, когда пугачевцы пришли в деревню Карамзиных, которые сбежали вместе с малолетним Николаем. Пугачевские эмиссары объявили их крестьянам волю, и те послали гонцов к самозванцу понять, что происходит. Пугачев их спросил, не хотят ли они служить в его войске, но крестьяне отказались. Тогда Пугачев дал им указ о воле и отпустил со словами: «У меня невольников нет». Эта сцена происходит в сфере публичной жизни, из которой крестьяне возвращаются домой, но не исчезают в аграрной тьме: мы знаем, что дома освобожденные пугачевщиной крестьяне проводили сходки, перераспределяли произведенное их трудом барское имущество, в первую очередь зерно, выбирали старост. Сохранился небольшой архив сельской демократии эпохи пугачевщины – протоколы и патенты о выборах старшин, составленные и записанные самими якобы неграмотными крестьянами. Когда Пугачев упразднял помещичью и полицейскую власть, в селах не воцарялись стихия, анархия и разбой, как это может представить себе городское воображение, – но вступали в силу традиционные, хотя часто подавлявшиеся институты сельской, мирской прямой демократии и коллективного распоряжения собственностью. Свидетельства о выборах сохрани-

лись не только от крестьян, но и от башкир и казаков, так что свести эту сложную колониальную ситуацию к изолированным этнокультурным традициям не получится. Мне кажется, что в пугачевщине становится осязаемо видна политическая форма и социальный проект низовой демократии, в которой фигура вождя оказывается далеко не самой главной. Пугачев, хотя и именует себя Петром III, не абсолютный монарх, как мы его себе представляем, но скорее казацкий плебейский (голутвенный) походный атаман. Не затем идут за ним массы, чтобы поклоняться одному монарху вместо другого, но затем, чтобы жить коммунальной демократической жизнью.

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?

К.К.: Обсуждаемая книга предлагает новый подход применимо к определенному событию – пугачевщине. Это тот случай, когда объект исследования буквально заставляет автора иначе использовать свой инструментарий, совмещать с другим, переизобретать в каком-то смысле. Но насколько этот подход применим к другим событиям российской истории, европейской или даже мировой?

Одним из моих «но» в отношении этой книги было соотнесение пугачевского восстания с английской революцией второй трети XVII века. Да, внешне оно относительно похоже, но главным нервом, сердцем, если угодно, английской революции был религиозный вопрос – и даже проблема равенства, поставленная левеллерами и диггерами, подавалась посредством вопроса о религии и церкви. Это исключительно важная вещь, без которой невозможно понять Кромвеля, индепендентов, противостояния с левеллерами и так далее.

Константин, насколько с вашей точки зрения этот подход и этот инструментарий применимы к другим событиям русской, российской истории?

К.Е.: Спасибо большое, Кирилл. Вопросы гораздо интереснее, чем то, что остается мне ответить, тем более, я не специалист настолько широкого профиля. Хочется надеяться, что перспективы, которые выстраиваются здесь из пугачевщины, можно каким-то образом встроить в ретроспективу, потому что есть очень сложный вопрос причин этого движения, его истоков, предыстории. Игорь Кобылин рассуждал о том, что книга Кирилла Осповата оставляет впечатление, как если бы существовала универсальная сила, которая в разных своих исторических проявлениях может то выступить, то затаиться. Народ в восстании Пугачева по стечению обстоятельств вдруг прорывает то, что является исторической закономерностью. Дискуссии внутри марксистского цеха мне кажутся несколько зауживающими проблематику и лишаящими нас очень многих ориентиров,



которые уже видны в книге Кирилла Осповата. В частности, та ирония, которая звучит в ряде тезисов, позволяет задаться вопросом, насколько мы из перспективы переименования движения или превращения его в универсалию способны к дальнейшему аналитическому выбору. Насколько мы лишаем себя или оставляем перед собой возможность быть честными перед лицом своих источников.

Мне очень понравились рассуждения Кирилла Осповата об Иоганне-Христиане фон Энгеле, который в год публикации «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева (1790) защитил диссертацию, где сопоставлял военный строй Спарты с Запорожской Сечью. Или перспектива, в которой Троцкий приписывает рождение республиканизма в России генералу-казаку Алексею Каледину. Это неожиданная оптика, в которой борьба за слова оказывается очень значимой, но затем по каким-то причинам отходит на второй план. Когда мы проводим эту археологию, она уводит все дальше и дальше от марксистских оптик и от революционных событий XX века. Перед нами выстраивается очень сложный исторический контекст, где справедливы замечания Давида Раскина, ссылаясь на которые, Кирилл Осповат говорит о том, что крестьяне опирались в подавляющем большинстве случаев не на проективное мышление и не на программную рефлексию, а на случайные факторы: законодательные своды, что-то где-то от кого-то услышанное – то есть вещи, которые, так сказать, не носят догматического, теоретического, доктринального характера. И когда мы этот характер пытаемся приписывать, мы чего-то лишаем само движение. И в этом смысле, мне кажется, книга у Кирилла Осповата получилась очень честной.

Марксистская оптика, широко представленная в книге, на мой взгляд, совершенно не работает, когда мы рассуждаем о сходстве пугачевцев с английскими крестьянами XVIII века, сжигающими нечистое имущество. «Моральная экономика» Эдварда Томпсона здесь неприменима. Кирилл Осповат пытается раскрыть ее через Пугачева, но крестьяне в России ведут себя совсем не так, как английские крестьяне. И так – вплоть до XX века, когда крестьянская проблематика оказалась в «слепом поле» марксистских оптик и у нее возник подтекст, который мы сегодня не обсуждали: как марксизм отнимал у крестьянского движения, народнического движения, эсеров революционный импульс и приписывал его пролетариату? В этом смысле книга также очень интересна, и к тому же ей предшествует целый ряд переосмыслений, касающихся событий XIX–XX веков. Здесь важен не только Пушкин с его парадигмой народных движений, но и народники, и движение 1905 года, во многом крестьянское, и революционно-крестьянские события 1917 года, и последу-

ющие события вплоть до коллективизации, когда пролетариат уже можно ставить в кавычки как форму идеологии. С помощью коллективизации идеологизированный «пролетариат» окончательно раздавил эту революционную потенцию, уничтожил ее просто физически.

Когда мы читаем в книге очень интересные рассуждения о крестьянской идеологии, они всякий раз показывают, что перспектива радикального Просвещения для крестьянских движений XVIII века могла возникнуть, в общем-то, случайно. Но это же заставляет задаться вопросом: насколько случайным оказывается само понимание Просвещения как монолитного движения, состоящего из монументальных фигур? Учитывая, что в интерпретации того же Монтескьё Екатерина II практически ничем не отличается в своих базовых установках и идейных предпочтениях от Пугачева, какое развитие должна получить дискуссия о роли дворянства в восстании Пугачева? Мне кажется, что это в принципе не очень предметный спор. В своих прямых заявлениях Пугачев и его соратники не раз демонстрировали, что не были настроены против дворян как класса.

И вообще мне не понятна идея эксплуатации. Я увел бы ее глубже в историческую проблематику и задался вопросом: насколько корректно говорить о крестьянстве как о классе, как о военной силе, учитывая, что проведено уже немало деконструкций для разоблачения термина «крестьянская война» начиная с крестьянского движения в эпоху Реформации? Крестьяне хорошо вооружены, легко осваивают огнестрельное оружие и артиллерию, превращаются в боевую мощь, сопротивляются любому вооруженному классу. Пугачев говорит: «Мы этих дворян поставим на зарплату, снимем их с земли, переведем их на жалованье», – подразумевая абсолютную обратимость, даже в демографическом смысле, помещиков и крестьян. Для того, чтобы обратить помещика в крестьянина и наоборот, достаточно одного отправить на землю, а другому выдать ультрасовременное для того времени огнестрельное оружие. В этой оптике всякая классовая терминология кажется просто неуместной.

Кроме того, целый ряд совпадений образовался между народными республиканизмами. Может быть, пугачевщина была даже не одним движением, а разными несходными между собой республиканизмами, своего рода республиканской идеей в понимании Джона Покока применительно к радикальному Просвещению. Но постоянство в образовании подобных республиканских проектов не свидетельствует об универсальности народно-освободительного движения (о чем как раз говорят марксисты и, в частности, троцкисты), а свидетельствует скорее о том, что Пугачев был мастером своего дела, тонким

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?



политиком и воином, который прекрасно понимал, как использовать конъюнктуру, как свести воедино популярные движения, акты делиберации и превратить их в ударный оплот для народного сопротивления. Поэтому совпадения с американской революцией очень важны, и я согласен с Кириллом Осповатом в том, что пугачевщина в большей мере сопоставима с крестьянской революцией и с антирабовладельческими движениями, чем с рабовладельческими освободительными революциями эпохи Просвещения.

Для того, чтобы обратить помещика в крестьянина и наоборот, достаточно одного отправить на землю, а другому выдать ультрасовременное для того времени огнестрельное оружие. В этой оптике всякая классовая терминология кажется просто неуместной.

Но, возвращаясь к заданному вопросу, мне кажется, что оптику, которая в книге неоднократно намечается, очень сложно применить к более ранним эпохам и попытаться в марксистской логике углубить в предыстории и вывести на крестьянское восстание в эпоху Реформации. Просто потому, что те термины, которые используются в крестьянском движении, в пугачевщине, в XVII веке часто значили еще совсем не то, на что рассчитывает Кирилл Осповат. Скажем, понятие «мир», которое благодаря Марине Громыко и исследователям ее круга, мне кажется, ошибочно интерпретируется как крестьянская община, в источниках, относящихся к началу XVII века, фигурирует в речах дворян, дворянского ополчения. В приговорах Первого ополчения дворяне под руководством Прокопия Ляпунова выступают как «мир», а ни о каком крестьянстве речи вообще не было. А когда этот термин перехватывают городские восстания с середины XVII века, то нужно учитывать, что участие в них принимали далеко не только крестьяне и простые мещане. Эти восстания были не «народными», не «низовыми» движениями – это частая ошибка, связанная с советско-марксистской историографией, с которой Кирилл Осповат убедительно спорит. Там нет приписываемых им антагонистических классов.

То же самое касается и казаческих движений. Я согласен, что важным является деление на «голутвенных» казаков и на «старшину». Но посмотрите: понятия «круга», «рады», «сечи», «товарищества» – все они тесно связаны с польской шляхетской демократией, так или иначе восходят к традициям Речи Посполитой и потому чужды для Московского государства, по-

сколько передавали ненавистный для него опыт, с которым на протяжении двухсот лет Россия вела в прямом смысле войну. Используя эту терминологию казаки часто дополняют ее своим свободным толкованием, что для Москвы было еще более неприемлемо. Здесь интересно, как Кирилл Осповат комментирует исторические понятия «борода», «порох», «крест», «свинец». Как только мы обращаемся к этим материям, оказывается, что старообрядческое движение и конфликт середины XVII века проступают в этом восстании гораздо более явно, и – соглашусь с Кириллом Кобриным – тут важна религиозная составляющая. Хотя она была не принципиальной для многих участников движения, но, о чем говорил Кирилл Осповат, там неожиданно появляются союзы: например, между крестьянами и местными народами – или же между восставшими крестьянами и старообрядцами!

ПУГАЧЕВЩИНА: «ИСТОРИЯ СНИЗУ» ИЛИ «ИСТОРИЯ НИЗОВ»?

К.К.: Мы почти не затронули исключительно важных вопросов, которые, как мне кажется, требуют отдельного обсуждения. Прежде всего это незаконченный разговор об используемых терминах: в частности, много говорилось о республиканизме, а я бы обратил внимание на понятие «демократия», поскольку важно посмотреть, как разные его прочтения могут быть применимы (или нет) к данному случаю. Но это касается и терминологии вообще.

Также важен вопрос о национальном элементе: пугачевщину можно прочесть как вторую за сто лет антиколониальную войну против российского государства между Волгой и Уралом. И в данном случае я предложил бы сменить перспективу: когда мы смотрим из центра, то там, где-то на окраинах, русские крестьяне объединяются с башкирами, а в некоторых случаях с калмыками. Но если посмотреть на все эти события с востока, с точки зрения калмыков и башкир, то не может ли оказаться, что движения этих народов используют русских крестьян, пусть и на взаимовыгодных началах, в своих политических целях? Эти мысли пришли мне в голову, когда я думал про булавинский бунт, где отсутствие центральной оптики особенно заметно: калмыки выступают там не против, а за центральную российскую власть. И либо они так любят русское государство, либо используют его для каких-то своих политических целей. Было бы здорово в будущем обсудить из этой перспективы и пугачевщину.

Ну а пока на этом закончим, огромное всем спасибо!